

И.И. Дмитриев

Взгляд на мою жизнь

<...> В 1770 году в провинциальном городе Симбирске старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру под руководством нашего учителя г. Манженя. В толпе пирующих увидел я в первый раз *пятилетнего* мальчика в шелковом перувьеневом камзолычке с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михаила Егорович соединился вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его...

С приближением юношеского возраста Карамзин отправлен был в Москву и отдан в учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета, где и находился до вступления в настоящую службу. По тогдашнему обыкновению или злоупотреблению в гвардейских полках он записан был, так же как и я, еще малолетним в Преображенский полк подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот каким образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, рассказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя. Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам сойтись два, три раза, как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день ото дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем чтении, между тем я показывал ему иногда и мелкие мои переводы, которые были печатаемы особо и в тогдашних журналах. Следуя моему примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был «Разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Белисаветою в Елисейских полях», переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика фильдингова «Томаса-Ионеса» (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его.

По кончине отца своего он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время; я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однако, в нем прежней любви его к словесности. При первом нашем свидании с глаза на глаз он спрашивает меня, занимаюсь ли я по-прежнему переводами? Я рассказываю ему, что недавно перевел из книги «Картина Смерти», сочинение Караччиоли, «Разговор выходца с того света с живым другом его». Он удивился странному моему выбору и дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что по выбору перевода судят и о свойствах переводчика и что я выбором своим, конечно, не заслужу выгодного о себе мнения в обществе. «А я, — примолвил он, — думаю

переводить из Вольтера с немецкого перевода». — «Что же такое?» — «Белого быка». — «Как! Эту дрянь, и еще не вольтерову, а подложную!» — вскричал я. И оба земляка поквитались.

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев, уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем или по крайней мере главную пружину *Общества дружеского типографического* <...>

В этом-то *Дружеском обществе* началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца, преподававшего лекции о богопознании, о высоких предназначениях человека. Между тем знакомился и с молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличным Александр Андреевич Петров. Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностью к здоровой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики, а упражнялся только в переводах, из коих известны мне первые два года еженедельника под названием «Детское чтение»; «Учитель» в двух томах; «Хризомандер», мистическое сочинение; и «Багуатгета», тоже род мистической поэмы, писанной на санскритском языке и переведенной с немецкого. Карамзин любил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одной кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме, принадлежащем *Дружескому обществу*. Я как теперь вижу скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго перед приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа. Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветок над гробом Агатона».

После свидания нашего в Симбирске какую перемену нашел я в милом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой черкешенки, но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершению в себе *человека*. Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любил меня еще по-прежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще несколько раз встречались в Москве и наконец разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не на счет общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении.

Мелочи из запаса моей памяти

<...> Первая супруга Карамзина скончалась в 1802 году. Карамзин любил ее страстно. Видя безнадежность больной, он то рвался к ее постели, то отрываем был срочною работою журнала, который составлял его доход и был необходим для семейства. Это было мучительное время его жизни! Утомленный, измученный, бросился он на диван и заснул. Вдруг видит во сне, что он стоит у вырытой могилы, а по другую сторону стоит Екатерина Андреевна (на которой он после женился) и через могилу подает ему руку. Этот сон тем страннее, что в эти минуты, занятый умирающею женою, он не мог и думать о другой женитьбе и не воображал жениться на Екатерине Андреевне. Он сам рассказывал этот сон моему дяде. На Екатерине Андреевне он женился в 1804 году.

Не было равнодушнее Карамзина и к похвале и к критике: первой не давал он большой цены, потому что его славолубие было не мелочное авторское самолюбие; второю он не возмущался, потому что мелочи не тревожили никогда его философского спокойствия. В его характере было какое-то высокое спокойствие духа, которое мы находим у древних философов. Сердце его могло страдать, но дух не возмущался.

Кстати, о похвале и критике. Когда А.С. Шишков написал против нового карамзинского языка целую книгу: *Рассуждение о старом и новом слоге* (1803), мой дядя принес эту книгу к Карамзину и советовал отвечать. Но Карамзин, пробежав книгу, бросил куда-то, где она и осталась. В другой раз, это было при мне, казанский профессор Городчанинов прислал ему печатную книжку: *Разбор речей из Марфы Посадницы* и еще чего-то из его сочинений, разбор, наполненный похвалою. Та же участь постигла и эту книжку!

Он оставлял иногда без ответа письма, наполненные похвалами уважения, которые для всякого другого были бы очень приятны; также и присылку к нему книг. Дядя мой, строгий наблюдатель приличий, часто упрекал его в этом. Но это было не по гордости, а потому что Карамзин не любил пустого труда и берег дорогое время. Нынче некоторые тоже не отвечают на письма, но, во-первых, они не имеют тех прав: это не Карамзины; во-вторых, эта неучтивость так сходится у иных с образом жизни, с их обращением, что, очевидно, она происходит у них от одного недостатка воспитания. Карамзин был выше мелочей, хотя и его дядя мой в этом не извинял; а иные воображают себя выше других, потому что не разберут чужого достоинства.

Карамзин, говоря о русском языке, употреблял иногда вместо правила подобие, которое делало правило очевидным. У одного журналиста в Москве нашел он слово *кормчиев* вместо *кормчих*. Он сказал ему: «Разве вы напишете: *невчиев* вместо *невчих*? Что сказал бы он о нынешних *помимо* и *совпадать*?

Возвратясь в Москву после нашествия французов, Карамзин жил сперва в доме Селивановского, на Большой Дмитровке; потом на Воздвиженке, в угольном доме Ф.Ф. Кокошкина, против церкви Бориса и Глеба. Я нередко бывал у него сперва вместе с моим дядею, потом и один, после вторичного отъезда его в Петербург на министерство.

Не было человека обходительнее и добрее Карамзина в обращении. Голос красноречивейшего нашего писателя был громок и благозвучен. Он говорил с необыкновенною ясностью; спорил горячо, но логически и никогда не сердился на противоречия. Вот как изобразил его Жуковский в письме к моему дяде. Хотя стихи эти и были вполне напечатаны в *Москвитяине*, но помещаю здесь этот отрывок по верности изображения.

Это писано в 1813 году; но относится к времени, предшествовавшему 1812 году. Жуковский говорит о доме И.И. Дмитриева, сгоревшем во время нашествия иноплемеников, и вспоминает о тогдашнем его обществе, собиравшемся в саду, за чаем, под тению широкой липы:

Сколь часто прохлажденный
Сей тенью Карамзин,
Наш Ливий-Славянин,
Как будто вдохновенный,
Пред нами разрывал
Завесу лет минувших
И смертным сном заснувших
Героев вызывал
Из гроба перед нами!
С поднятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым юберроком
И в пыльных сапогах
Казался он пророком,
Открывшим в небесах
Все тайны их священны!

Я видал Карамзина в этом виде: с поднятыми перстами и с пламенем в очах. Изображение очень верно! — Эти стихи напечатаны ныне вполне в последних трех томах сочинений Жуковского.

Образ его жизни в Москве был чрезвычайно правилен. Всякое утро посвящал он труду, Истории Российского Государства; всякий день ездил верхом или ходил пешком перед обедом; в 10 часов вечера выходил в гостиную пить чай и принимал тех, которые приезжали к нему на вечер.

Император Александр не знал Карамзина до 1811 года. В этом году, намереваясь посетить в Твери великую княгиню Екатерину Павловну, которая была тогда в супружестве за герцогом Голштейн-Ольденбургским, государь пожелал видеть там Карамзина, который по приглашению великой княгини и приехал в Тверь. Здесь-то читал он в первый раз государю свою *Историю*, что представлено на одном барельефе памятника, воздвигнутого историографу на его родине в Симбирске. Жаль очень, что и государь, и историограф изображены на нем не в современном костюме.

...В это же время представил он Екатерине Павловне *Записку о древней и новой России*, написанную по ее желанию. Великая княгиня просила написать ее только для собственного прочтения и обещала хранить в тайне. Но, выслушав чтение этой *Записки* от самого Карамзина, она так прельстилась сказанными в ней истинами, что взяла ее из рук у автора и заперла в столик; а потом показала ее государю. Государю сначала не понравились откровенные замечания историографа. После благоволения за чтение *Истории* Александр на другой же день после прочтения *Записки* оказал к нему холодность и, разговаривая милостиво с супругой Карамзина, Екатериной Андреевной, не обращал к нему ни слова. Но на третий день все стало по-прежнему, как будто ничего не бывало.

Государь, между многотрудных дел войны и политики, брал с собою в путешествие рукопись *Истории Государства Российского*; читал со вниманием и даже делал на полях отметки, особенно в 9-м томе. На вопрос Карамзина, прикажет ли исправить места, им отмеченные, государь отвечал, что он делал эти отметки для себя; но чтобы печатал, как есть в рукописи.